**Бал**

Абрамов Александр

I

На Кутузовском проспекте, у Окружной железной дороги, между двумя домами-гигантами есть скромный маленький сквер-цветник, один из самых тихих в Москве. Здесь собираются обычно по вечерам жильцы соседних домов, а днем сквер почти безлюден — редкие мамы с детскими колясками да еще более редкие прохожие, присевшие отдохнуть на одной из пустых белых скамеек. Присел и я, соблазненный тишиной и безлюдностью. Куда спешить одинокому человеку, когда он не пышет здоровьем и живет на военную пенсию, не обремененный заботами о потомстве, которого нет.

Рядом на скамейке сидела женщина, даже не взглянувшая на меня, когда я присел в сторонке, — нестарая, даже моложавая, с хозяйственной сумкой, стоявшей рядом, и пестрым зонтиком, кончиком которого она задумчиво и небрежно что-то чертила на песке под ногами. Только-только прошел мелкий дождь, и штрихи на сыром песке ложились глубоко и резко, отлично видные с моего места.

«Мираж», — прочел я, потом появился вопросительный знак, и зонтик крест-накрест зачеркнул это слово, а дамский сапожок на молнии, как показалось, даже с какой-то яростью утрамбовал песок, стирая написанное. Еще минута — и зонтик, словно не доверяя себе, начал новую экзерсицию. «Сон», — начертил он и остановился. И снова возник вопросительный знак, и опять сапожок затоптал буквы, а рука, державшая зонтик, замерла, не зная или не решаясь написать что-либо другое, более точное и верное, о чем настойчиво взывала мысль. На меня женщина по-прежнему не обращала внимания, я видел ее только в профиль — каштановую прядку на лбу, выбившуюся из-под цветастой косынки, упрямо сжатые губы и жесткий волевой подбородок.

Зонтик снова пришел в движение, начертил «Ме...» и остановился опять, словно что-то мешало ему дописать это слово. «Мечта».- мысленно дописал я и не ошибся. Минуту спустя дописала так и она. И вздохнула глубоко и жалобно, как вздыхают, вспоминая о тяжелой утрате. Но вопросительного знака не появилось.

Тут же она повернулась ко мне, и глаза наши встретились. Ничего я не прочел в них, все написанное там было зачеркнуто, обращено вовнутрь, ни для кого не предназначаясь. Да и смотрела она не на меня, а сквозь меня, как смотрят, покупая газету в киоске и не видя лица киоскера.

— А что такое мечта? — вдруг спросила она.Не ответить было нельзя при всей неуместности такого вопроса.

— Воображение, воздушный замок, — сказал я. — Во всяком случае, не сон. Хотя помните: мечта — это сон упоительный...

— Упоительный, но не сон. А что?

— Не помню семантики слова, сформулированной в толковых словарях, пояснил я, — но, может быть, так? Что-то несуществующее, нереальное, но желанное и манящее.

Она по-прежнему глядела сквозь меня.

— Желанное и манящее. Но почему нереальное? Если мечта исступленная, яростная, если она целиком поглотила вас, это уже реальность. Мир мечты живет рядом, но не каждому дано войти в этот мир.

— Не знаю, — сказал я.

Согласитесь сами, что уличный разговор этот вовсе не был уличным разговором, и едва ли было уместно обмениваться философическими раздумьями случайно, в несоответствующем настроении и с незнакомым вам человеком.

Но я солгал. Я знал. Неожиданный разговор этот поднял сорокалетний пласт времени, извлек из памяти нечто давно забытое, но драгоценное, как сбывшаяся мечта, —которая тогда еще не могла сбыться. Мир мечты живет рядом, сказала женщина, но не каждому дано войти в этот мир. Мне было дано. Но не мог же я рассказать об этом первому встречному. И в ответ на мое «не знаю» покорно выслушал брезгливую реплику:

— Тогда замолчите.

II

Раненный в октябрьских боях на Можайской линии обороны в сорок первом году, я отлеживался в одном из московских военных госпиталей и.после ноябрьских праздников должен был вернуться в свою часть, уже к тому времени переформированную и дислоцированную на ближних подступах к Москве, где-то в районе Крюкова. Госпиталь, как и все госпитали, не давал представления об окружающей обстановке, а мне так хотелось подышать воздухом совсем новой для меня суровой прифронтовой Москвы, и в ноябре я все-таки ухитрился удрать с госпитальной койки и перебраться на несколько дней к Гордееву, моему однокласснику, служившему где-то в центре города в районном военкомате.

Гордеев жил не дома — дом его был поврежден во время вражеского воздушного налета, — а в историческом здании Дома союзов, точнее; в администраторской его Колонного зала. Зал этот был закрыт, вместо привычных концертных афиш у входа были расклеены мобилизационные приказы и плакат художника Тоидзе «Родина-мать зовет" — потрясающий образ женщины в красном на фоне вставших стеной штыков. А внутри в огромном концертном зале размещались какие-то сменявшие друг друга военные части. Однако Гордееву, как работнику военкомата, ведавшему формированием войсковых пополнений, каким-то образом удалось оккупировать бывший администраторский кабинет, где он и спал на одном из двух кожаных диванов, на которых когда-то сиживали заходившие к администратору именитые гости. Другой диван Гордеев гостеприимно предложил мне, объяснив, что с начальством он это уладит, а против моего кратковременного пребывания здесь никто возражать не будет.

У Гордеева я, впрочем, только ночевал да коротал вечерние часы, когда Москва погружалась в тихую тень, а ночного пропуска у меня не было. Все же оставшиеся до возвращения в часть дни я торчал в госпитале, где долечивался, обедал и ужинал, или бродил по городу с преогромнейшим любопытством к увиденному. Я никогда не видел Москву такой, хотя в Москве родился и вырос, в Москве учился и уходил из Москвы с маршевым пополнением на фронт. Но июльская Москва сорок первого года, еще многолюдная и многошумная, гремела метро и трамваями, ходила в театры и кино, слушала Козловского и Качалова и толпилась в продовольственных магазинах, еще не зная ограничений будущих военных месяцев. Ноябрьскую же Москву я увидел преображенной ранними морозами, визгливой поземкой, пустынностью улиц и затемненными окнами. Мешки с песком, уложенные штабелями у магазинных витрин, крестообразные наклейки на окнах, стальные ежи у застав, а в сумерки яростные мечи прожекторов, кромсавших вечернее небо, да недвижимые дирижабли, висевшие высоко-высоко над городскими скверами, как спящие рыбы в мутном аквариуме, дополняли ноябрьский московский пейзаж.

Да и люди на улицах были непривычно молчаливыми, неузнаваемо строгими, с какой-то иконописной суровостью в очертаниях лиц. Я редко слышал смех, но не видел страха, казалось бы такого естественного в прифронтовом городе, куда с севера и северо-запада отчаянно рвались танковые колонны врага. В бомбоубежищах, куда меня иногда загоняли во время воздушной тревоги, говорили мало, но без боязни, интересовались больше, на каком направлении идут бои и что сообщат завтра сводки Информбюро, на тяготы военного быта не жаловались, а любителей постращать обрывали. Я наблюдал все это со странным чувством экзальтации, даже упоения, да-да, именно упоения, повторяя про себя знакомые с детства строки: «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане средь грозных волн и бурной тьмы...» Как точно сказано: средь бурной тьмы! В ночах затемненной Москвы мне виделись зори осажденной Парижской коммуны. Никогда, никогда, никогда, никогда коммунары не будут рабами — я и это повторял, не стесняясь штампов. Ведь мне было тогда немногим больше девятнадцати...

Каждый день на перевязке упорно не желавшей заживать руки я умолял старичка хирурга выписать меня поскорее. В середине ноября он наконец смилостивился: «В конце месяца выпишем. А пока прогуляйтесь-ка по Москве, по морозцу. Облака низкие, воздушной тревоги не будет». Но он ошибся. Громкоговорители у Большого театра сообщили под вой сирены о воздушной тревоге, едва я добрался до центра. Пришлось спуститься в убежище, оборудованное в метро на площади Свердлова. Внешне все походило на обычную картину у входов в метро. Кто-то спешил, кто-то шествовал спокойно, не торопясь, кто-то тараном шел, протискиваясь в толпе пассажиров. Только пассажиров не было, поезда не ходили, эскалаторы не работали; люди не толпились на перронах, а проходили прямо в тоннели, где и устраивались, кто на рельсах или на. шпалах, кто у скругленных и почему-то очень холодных стенок, протянув ноги к уже обесточенному и никого не пугавшему третьему рельсу.

Чем больше было людей, тем глубже они уходили в молчание тоннеля. Молчали осиротевшие рельсы, молчали сдержанные, очень спокойные люди. Редкие лампочки тускло освещали счастливцев, сумевших устроиться поближе к свету, что позволяло им читать, играть в карманные шахматы, закусывать, расстелив перед собой платок или газету. Я оказался рядом с девушкой, что-то читавшей и даже не поднявшей головы от книги, когда я неловко пристраивался рядом. Скосив глаза на переплет, я прочел: Николай Асеев. «Стихи разных лет».

Девушка была в заячьем треухе и потертой шубке, надетой поверх лыжного байкового костюма. Склоненного лица ее я не рассмотрел: обрамленное каштановыми прядями что-то очень худенькое, светлое, почти светящееся, но руки сразу бросались в глаза — посиневшие, с поломанными ногтями, все в кровоподтеках и ссадинах. Должно быть, работала на лесозаготовках или в противотанковых рвах где-то за пределами города. Когда, неосторожно повернувшись, я нечаянно толкнул ее и пробормотал смущенное «извините», она оглядела меня внимательно и строго. Я даже не понял почему: в госпитальном ватнике с чужого плеча и таких же ватных штанах, я никак не являл собой образец мужской привлекательности. Но девушка тотчас же объяснила свое внимание.

— Почему вы не на фронте? — спросила она.

— Я был на фронте. Ранен. Сейчас в госпитале... Рука. Скоро выписываюсь. Обратно в часть... — пролепетал я разом не очень членораздельно и вразумительно.

Но девушка поняла:

— Были в боях?

— Был.

— И танки их видели?

— Видел.

— Страшно?

Я пришел в себя и засмеялся:- А вы думаете — нет? Конечно, страшно. Только это проходит. Потом. От танка не убежишь, а вот бутылкой с горючей смесью или связкой гранат его и подорвать можно.

— Завидую, — вздохнула она.- Я ведь тоже просилась на фронт. Не взяли.

— И правильно, что не взяли. Куда же на фронт такую...

Она насторожилась:

— Какую — такую?

— Исхудалую, — нашел я нужное слово.

— Все сейчас не толстеют, — отмахнулась она.- Да и вы не атлет, хотя и на госпитальных харчах. Одна вата, да и та висит как на вешалке. А все-таки в часть возвращаетесь. Когда, кстати?

— Думаю, через недельку. Тогда и погоним их от Москвы.

— Вы думаете, погоним?

— А вы?

Что-то в лице ее напомнило мне женщину с плаката Тоидзе.

— Непременно погоним. Вот так. На считайте, что я говорю выспренне, но военный парад на Красной площади был уже началом пути к победе. Я верю.

— Все верят, — сказал я.

Она поднялась во весь рост, почти сравнявшись со мной:

— Не так. Надо особенно верить. Разумом. Сердцем. Всем существом своим. Каждым нервиком верить. Да так, чтобы увидеть. Сквозь время. Чтобы сказать себе: так и будет.

Тогда еще не было ни симоновской пьесы с таким названием, ни фильма «В шесть часов вечера после войны», но что-то во мне уже повторило: так и будет.

— А как? — спросил я с надеждой.

— Я вижу бал, — сказала она мечтательно, — самый счастливый бал в жизни нашего поколения. Какая-нибудь удивительная, необыкновенная музыка. Море огней. И простор. Как в Манеже. Нет, нет. Манеж — это казарма. Где до революции давались такие балы? Самые представительные, самые шумные?

— В Екатерининском институте, — вспомнил я что-то прочитанное, — там сейчас Центральный Дом Красной Армии, или в Благородном собрании...

— Где это в Благородном собрании?

— Нынешний Колонный зал Дома союзов. Нечто вроде дворянского клуба до революции. Зал знаменитых на всю Россию балов. Мой отец еще студентом был на таком балу — приглашение ему устроил какой-то князь, у которого он подтягивал по наукам сына-лицеиста. «Представь себе, — говорил отец, зеркальный паркет по всему залу между двойным строем белых колонн, тысячи зажженных свечей в люстрах, духовой оркестр московского генерал-губернатора и вальсирующие пары — дамы в белом и розовом, мужчины в черном, золотые эполеты гвардейцев, белые лосины, синие ментики...»

— А что такое ментик? — спросила она.

— Гусарская накидка, — я кивнул на книжку Асеева, которую она держала в руках, и процитировал: — Скинуты ментики, ночь глубока... А ну-ка вспеньте-ка полный бокал!

Ей, должно быть, понравился мой рассказ — глаза у нее загорелись:

— А мы и вспеним его тогда. На таком же балу. Только нашем, победном. В том же Колонном зале. Что там сейчас?

— Ничего. Солдатские койки. Расквартирована какая-то часть, не то саперы, не то зенитчики. Я и сам там живу сейчас, в госпиталь только на перевязки хожу, а ночую в Доме союзов, в бывшей администраторской.

— Вот вы и представьте его обновленным, сверкающим, незатемненным... И паркет натерт, и свет льется, и лучший в Москве оркестр. И много, много танцующих. Я почти вижу его таким. А захотите — и вы увидите...

Я не успел ответить, как громкоговорители в тоннеле донесли знакомый уже голос диктора:

— Граждане! Опасность, воздушного нападения миновала. Отбой.Людей в тоннеле как поземкой смело. На этот раз все спешили — скорей, скорей, скорей — на свет, на воздух, к чистому, нестреляющему небу. Я едва успел поймать мою соседку за рукав ее хилой шубки:

— Как зовут вас? Где вы живете? Она отшатнулась:

— Где живу, неважно. Мы все равно не увидимся. Вы уходите на фронт, переписка же явно бессмысленна. А зовут меня Римма. Есть такие святые Инна, Пинна и Римма. Но лучше через одно «м» — Рима. Так привычнее.

«Мы не увидимся», — сказала она. Но мы все же увиделись. Только об этом потом.

А в тот час я вернулся на свой холодный, как из жести, лежак в нетопленой комнате с отсыревшими обоями и тусклым светом шестнадцатисвечовой лампочки — на более сильную комендант не расщедрился.

На столе лежала записка: «Ночевать не приду. В связи с отправкой пополнений на фронт уйма работы. Гордеев».

Уже стемнело. Выходить не хотелось. Дул пронизывающий ледяной ветер, мелкий колючий снег завивался по мостовой. Делать было абсолютно нечего, а никаких книг, кроме воинского устава, у Гордеева не имелось. Я походил из угла в угол, вспоминая девушку с томиком стихов Асеева, необычную нашу беседу, и вышел из комнаты. Коридоры, примыкавшие к Колонному залу, обычно людные в эти часы, были пустынны, как после эвакуации. Никто не шатался, набросив на плечи ватник, никто не дымил махоркой, нигде не толпились любители поболтать из разных подразделений — ведь и в Октябрьском зале, и в фойе теснились солдатские койки, а людей не было видно. «Может быть, уже переброшены», — подумал я и, не зная, куда девать себя, заглянул в одну из дверей. Колонного зала.

Обычно, даже освещенный только редкими огоньками лампочек-ночников, он все же просматривался во всю свою необъятную в полутьме ширь и даль. Темнота, сгустившаяся у потолка, как бы растворялась внизу поверх серых солдатских одеял. Сейчас же на меня смотрела чернота беззвездной предгрозовой ночи. Я как бы стоял у входа в огромную черную пещеру, подобную гротам крымской Яйлы. Простор ощущался, но очертания терялись, поглощенные тьмой. Я шагнул вперед, сделал еще шаг, другой, третий и нигде не споткнулся, ничего не задел. Только ноги скользили необычайно легко, как по навощенному паркету в Зимнем дворце. Может быть, я шел по главному проходу между койками от задних дверей к эстраде? Тогда я решительно свернул вбок и пошел зигзагом, по-прежнему не встречая никаких препятствий, даже табуретки или урны для мусора, которые могли бы загреметь под ногами. Зенитчиков или саперов, расквартированных здесь, могли еще вывести куда-то для перегруппировки. Но почему исчезли их койки? И отчего так скользит пол и так легко дышится в этом бесконечном пласте темноты? Мне вдруг стало жарко, не от нервного возбуждения, а просто от теплоты хорошо натопленного зала, как топили его до войны перед концертами. Я вернулся к дверям единственно освещенному пятнышку в темноте — и сбросил ватник прямо у стенки на пол, причем мне показалось, что заметная на свету ленточка пола в дверях стала вдруг блестящей и светлой, словно кто-то стер с нее всю грязь, нанесенную солдатскими сапогами.

И тут я снова ринулся в далекую темноту, на этот раз по прямой вдоль колоннады, придирчиво ощупывая каждую колонну Между ними я обнаружил что-то вроде столиков с холодными, вероятно мраморными досками. Видимо, зал готовили для чего-то, не соответствующего его нынешнему назначению. Наконец я дошел до эстрады, нащупал ее барьер и замер, прислушиваясь. Мне показалось, что она не пуста, что немая чернота ее наполнилась какими-то знакомыми, но отдаленными шумами. Как будто очень, очень тихо, почти беззвучно готовился к выступлению большой, но невидимый в темноте оркестр. Едва слышно шуршали ноты, постукивали пюпитры, скрипели подтягиваемые струны, позвякивали смычки.

Сколько я так простоял, не помню, вдруг темнота в зале начала таять предрассветная мгла, размываемая далеким, еще невидимым светом. Черный простор вокруг синел, голубел, светился. Невидимый оркестр взорвался неслышной музыкой, и, как это ни парадоксально, именно неслышной, хотя где-то в мозгу она и возникала в причудливых сочетаниях завораживающих созвучий. Я, человек, можно сказать, совсем немузыкальный, был буквально ошеломлен этой беззвучной музыкой в размываемой темноте концертного зала.

В пространстве его что-то сдвинулось — я не мог определить это иначе какая-то неприметная грань между призрачным и реальным, существующим или только кажущимся. И вот уже клубящийся свет превратился в зажженные люстры, открылось сверкающее зеркало паркета и уже видимый, вполне реальный оркестр реально зазвучал с эстрады во всей своей концертной вооруженности. А в открытые двери растекающимся потоком хлынула толпа чисто одетых; подтянутых и нарядных людей, очень похожих на тех, что заполняли до войны Октябрьский и Колонный залы Дома союзов. Только большинство из них было в военной форме, вычищенной, отутюженной и пригнанной по росту и комплекции, совсем как в мирное время. А девушки в белом, будто невесты, до странности схожие, как портреты с одной натуры.

Шли они прямо на меня, но не видя меня, а когда я сторонился, чтобы пропустить их, проходили мимо, даже не обращая внимания, хотя я был форменным чучелом среди них в своих серых валенках, ватных штанах и заштопанной гимнастерке. Никто из них не задел меня даже локтем, как будто бы я был такой же белой колонной, мимо которых они весело прогуливались по залу. Я обомлел сначала, но потом опомнился. Классически ущипнул руку. Сон? Нет, не сон. Неловко толкнул одного из них. Призрак? Нет, не призрак. Закрыл и открыл глаза. Ничто не изменилось.

Наблюдая их, я заметил, что все они были люди моего поколения. Ушедших на войну, «не долюбив, не докурив последней папиросы». С зачетной сессии института, со скамейки вечерней школы, от станка, к которому впервые встал в цехе. Ни одного пожилого и тем более старика. Шли на бал те, кто стоял бок о бок со мной в окопе, шли девушки, которые ждали их даже тогда, когда уже никто не ждал. Симоновское

«Жди меня» еще не было написано, а я уже видел их неповторимые лица, с которыми они встречали любимых, которых ждали.

На мраморных столиках меж колоннами они пили шампанское. Бокалы звенели, как бубенцы. Оркестр гремел. Палочка дирижера казалась молнией. Вальс, вальс, вальс... Пары проносились мимо, оставляя недосказанное, невыплаканное, недоцелованное...

— ...Я знала, что так будет.

— ...Что встречу тебя на этом балу.

— ...Мы шли к нему с того военного парада на Красной площади.

— ...Сколько дней шли.

— ...Какая разница — дошли.

Я понял, что заглянул в будущее. В будущее, каким его видела Рима. Это она открыла для меня щелку во времени.

Оглянулся по сторонам, уже не сомневаясь, что найду ее здесь. И нашел. Она стояла у соседней колонны таким же, как и я, огородным пугалом в своей заячьей шапке и байковом лыжном костюме. Шубку, сброшенную на пол, она держала за воротник.

Я взял с ближайшего мраморного столика вполне реальную бутылку шампанского, два бокала и, лихо подкатив к ней по глянцу паркета, предложил, как бы ничему не удивляясь:

— А ну-ка вспеньте-ка полный бокал.

В сияющих глазах ее отразилось то, что можно выразить одним словом: ликование.

— Видите? Я же говорила вам, что так и будет. Я выпил свой бокал и хмыкнул:

— А шампанское-то настоящее.

— Здесь все настоящее, — сказала она.

— И люди?

— Конечно. Такими я их увидела.

— И оттого, должно быть, все девушки похожи на вас.

— А мужчины — на вас.

Мы оба засмеялись, как на всамделишном балу.

— Это только мы их видим такими, — заговорщически прошептала она, — в жизни они будут другими. Но все будет именно так. Может быть, не здесь, а в Большом театре, может быть, просто на улицах. На Красной площади, например...

— Что же это — гипноз? — спросил я. Она фыркнула:

— Смешно. Я не Вольф Мессинг.

— Галлюцинация?

— Не знаю. Только я очень хотела это увидеть.

Я уже почти не сомневался в том, что галлюцинирую и эскиз будущего навязан мне Римой. Но какой исступленной гипнотической силой надо было обладать, чтобы и свою и чужую психику заставить поверить в реальность предполагаемого, обмануть зрение, слух, осязание, вкус.

— Не ломайте голову, — сказала она. — Просто мечта. И моя и ваша.

Окошко в будущее. Вот-вот захлопнется...

— Граждане! Воздушная тревога, — объявил невидимый радиоголос.

И все погасло — и свет и звук. И снова темнота предгрозовой ночи. И глухое безмолвие тишины.

Я крикнул в темноту:

— Рима!

Никто не отозвался. Я рванулся вперед и налетел на солдатскую койку. Оказывается, их никуда не убирали. Я ощупью обогнул ее и вышел к дверям. Там я и поднял свой брошенный ватник. В вестибюле горела единственная лампочка, но Римы я не нашел. Или она тоже была видением, или, что всего вероятнее, скрылась в темноте, чтобы избежать разговора со мной.

Впереди меня, застегивая на ходу пальто и ватники, спешили дежурные. Еле брезжил поздний зимний рассвет. А на площади Свердлова уже показались прохожие. Опасность воздушного нападения была устранена еще на подступах к городу.

В десять утра я потопал по заснеженным улицам в госпиталь на перевязку, потом через неделю с воинским эшелоном — в часть,, а в декабре и январе мы действительно погнали их от Москвы, и был Сталинград, и Курская дуга, и великий победный марш к алому знамени на крыше рейхстага. Так все и было. И был мой бал, и мы танцевали вальс под трофейный баян на развалинах какого-то берлинского пригорода.

Только без Римы.

III

— Я обманул вас, простите, — обратился я к все еще сидевшей рядом женщине.

Она обернулась и спросила:

— Значит, вспомнили?

— Вспомнил, Рима... — сказал я.